



ПОДЛИПКИ  
(Записки Владимира Ладнева)  
*Роман в трех частях*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Никогда, может быть, не собрался бы я исполнить Обещанное — написать вам что-нибудь о моей прошлой жизни, о детстве моем и первых годах молодости...

Но сегодня, бог знает почему, проснулся я рано... встал и подошел к окну...

Если б вы знали, какая томящая тоска охватила мою душу! На дворе чуть брезжилось; окно мое было в сад, и за ночь выпал молодой снег, покрыл куртины и сырые сучья. Если вы никогда не видали первого снега в деревне, на липах и яблонях вашего сада, то вы едва ли поймете то глубокое чувство одиночества, которое наполнило мою душу!

Долго глядел я в окно — вот все, что я могу еще сказать об этом утре; а потом взял перо и решил исполнить обещание...

С чего начать?

Вы знаете, я теперь в той самой деревне, о которой я вам говорил столько раз.

Никто не хвалил ее местоположения. Оно не живописно; но если б вы когда-нибудь зимою вздумали прогнаться на тройке по нашим полям, то, верно, заметили бы частую рощу, подступившую вплоть к пустынной почтовой дороге; может быть, если бы это было утром, уви-

дали бы вы над голыми вершинами осин и берез струйки синеватого гостеприимного дыма... Попробуйте тогда завернуть в рошу; посмотрите по бокам дороги на этот лесной снег, никем не тронутый, кроме зайца; посмотрите на узоры, которые он начертил, на мелкий и аккуратный след ласочки, ходившей на добычу этою ночью...

Слышите, уж несется к вам по морозному воздуху, полному сверкающих пылинок, несется манящий к жилию дымный запах... Ближе, ближе... Вот забытый двор, по которому ходит только рыжий старик-ключник, и то по одной и той же вековой тропинке. Вот розовый дом с дикими ставнями, осененный тремя елями, вечнозелеными и вечно мрачными великанами; а там, на той стороне, клен, роскошь нашей растительности: теперь вы его не отличите от другого дерева, но летом он вешает крайний сук, обремененный листьями, на старую гонтовую крышу. Направо за ракетами небольшой пруд, летом покрытый густою плесенью, а теперь занесенный снегом почти наравне с краями.

Смотрите, как дым бодро и дружно подымается изо всех крестьянских труб... Звуков мало: лай собаки да скрип колеса на колодце под рукой девушки, раздумянной зимним утром.

Не думайте, однако, что деревня эта всегда грустна, как в нынешнее утро. Нет, мало я знал деревень, в которых бы летнее солнце освещало такую уютную зеленую и мирную красоту!

Особливо при покойной тетушке, Марье Николаевне Солнцевой, было очень хорошо у нас в Подлипках.

Тетушка была богатая и бездетная вдова-генеральша; полгода жила она в деревне, полгода в Москве, где у нее был собственный дом.

Я приходился одним из прямых наследников ее с тех пор, как не стало у меня ни отца, ни матери; другие наследники были: сначала дядя, потом его сын, который служил уже в Петербурге, когда мне было всего 18 лет.

*Я рос* у тетушки с того дня, как отец мой поручил меня ей, уезжая на польскую войну. Он там был ранен и, возвратясь, недолго жил.

Тетушка была полна, ходила мало, да и то согнувшись, хотя сложения была далеко не слабого. Всегда была серьезна, но без малейшей суровости. Ни разу не случилось мне видеть у нее гневных глаз или сдвинутых бровей, но зато и улыбку хранила она для торжественных случаев.

Зимой, даже и в деревне, она носила шелковые темноватые капоты и большие чепцы с густой оборкой вокруг, а в жаркое время каждый день меняла белые блузы, под которыми так гремели крахмальные юбки.

В хозяйство она много не входила; особенно в полевое (для этого у нее был приказчик из своих крепостных), но не терпела нечистоты в доме и саду и многим в жизни усадьбы своей интересовалась. В Петровки, например, когда наставала веселая пора сенокоса и барщина собиралась в сад трусить под окнами сено, тетушка садилась к открытому окошку почти на целый день и наблюдала за работой и за нарядами баб, которые в наших краях на сенокос одеваются, как на праздник.

— Ах ты, матушки! — восклицала она, обращаясь к своей компаньонке и нисколько не меняясь в лице при восклицании. — Ольга Ивановна, посмотри, *ma chere*<sup>1</sup>... Какой Парашка надела платок! Это ей брат подарил... брат из Алтаева...

— Почему же вы думаете, что это брат? Может быть, муж? Это гораздо натуральнее, — возражает Ольга Ивановна и, достав лорнет, смотрит в сад. — Может быть, муж! — повторяет она, окидывая взорами Парашкина мужа. — Посмотрите, какое у него прекрасное лицо!

— Он такой грубый! — говорит тетушка. — Где ему, *ma chere*! Это брат; я знаю наверное, что брат ей купил... В запрошное воскресенье Февроньюшка говорила мне, что видела самого Павла на торгу. Платок, говорит, ку-

---

<sup>1</sup> Моя дорогая.

пил парчовой, алый с золотом. Парашка, а Парашка! Пооди сюда!

Парашка подходит и кланяется.

— Здравствуй, мать моя; кто тебе платок дал? Ишь вырядилась как!

Парашка хохочет, закрывая рот рукой, на которой блестят серебряные и медные кольца.

Тетушка ждет; но Ольга Ивановна принимает суровый вид.

— Прасковья! ты глупа, — замечает она. — Хохот тут не у места. Ты должна отвечать барыне на вопрос. Ты не дитя!

Парашка смущена.

— Э! та chere, pourquoi?<sup>1</sup> — шепчет тетушка. — Парашка, да скажи же, матушка, кто тебе это дал?

— О-о! да брат же! — восклицает Парашка игриво, откидываясь назад и снова поднимая руку к лицу.

Парашка отпущена, и тетушка торжествует.

— Я говорила ведь, что брат! Февронья выдумывать не станет... С какой ей стати! Il est tres riche!<sup>2</sup> — прибавляет тетушка, помолчав, и совсем другим голосом.

Но больше всего на свете тетушка любила сказки. Каждое послеобеда ложилась она на диван и задремать иначе не могла, как под звуки какого-нибудь рассказа. На ночь делалось то же непременно.

Во время моего детства была у нее для этого Аленушка-сухорукая, сорокалетняя горничная, худая, бледная, с красным носом и очень строгой нравственности. Аленушка была очень добра ко мне, и я сам не раз наслаждался ее красноречием по зимним сумеркам, когда она грелась, сидя на лежанке в угловой комнате, в той самой любимой моей комнате, которую звали еще с дедовских пор диванной и где я теперь устроил себе кабинет. В самом деле, комната эта всегда весела: в полдень нет светлее ее во всем доме, потому что окна ее прямо на юг, а

---

<sup>1</sup> Моя дорогая, зачем?

<sup>2</sup> Он очень богат!

зимним вечером, бывало, в старину затапливалась в ней печка, наполнявшая ее таинственно колыхающимся сияньем. Сиянье боролось с мглой надворья, и все предметы скоро получали смешанный, прыгающий, волшебнo-одушевленный вид. Тогда Алена оставляла чулок, который она вязала очень искусно, не сгибая засохшей руки, надевала синюю кацавейку с беличьим мехом и садилась на лежанку, где и болтала ногами до тех пор, пока жар не стогнал ее долой. Тут-то я, бывало, прибежал к ней и требовал сумереничанья, то есть потрясающих душу рассказов.

Особенно помню я одну сказку про *Кривду* и *Правду*, которую рассказывала мне Аленушка, как Кривда жила и жила Правда. Правда была добрая женщина, а Кривда злая. Правда была бедна и, нуждаясь в хлебе, просила его у злой женщины. Та ее накормила, но за каждый ломоть выкалывала ей по глазу. Однако это не принесло никакой пользы завистнице, потому что один прекрасный царевич, гуляя с меньшими братьями ночью в лесу, нашел Правду на сосне (она слепа не знала, куда деться), приходил с той ночи сам мазать ей глаза три утра сряду росой, возвратил ей зрение и потом женился на ней.

Когда же Кривда вздумала тоже выколоть себе глаза и забраться на дерево, надеясь на меньших царевичей, то судьба наказала ее: царевичи посмеялись над ней, и она умерла с голоду в лесу, где тело ее растерзали волки.

Одно только обстоятельство в этой сказке затрудняло мое воображение.

— Аленушка! — спрашивал я, — и ей ужасно страшно было на сосне?

— Уж конечно, голубчик мой, страсти не обралась!

— А как же, Аленушка, этот принц женился на ней? Она ведь была простая женщина, ты говоришь?

— Что ж, мой голубчик, что простая? Она была лицом красавица!..

— А ты зачем же говоришь, что она женщина и бедная? Я думал, что она такая, как странница Авдотья Ва-

сильевна, в черном платочке с белыми пятнышками. Женщины всегда в платках ходят...

И долго преследовала меня мысль о старухе, сидящей на сосне. Подойдешь, бывало, к окну, поднимешь штопру, чтобы взглянуть в сад — а тут, как нарочно, такая темнота и большие ели у входа близехонько от дома.

Тем более мне все это памятно, что тетушка очень часто спрашивала меня поутру, *что я видел во сне*, и, тогда я отвечал, что приходилось, тетушка обыкновенно говаривала:

— А я видела во сне, что мой нос сидит на сосне, а твой хохочет, туда же хочет...

С Аленушкой я расстался на одиннадцатом году, когда покойный дядя Петр Николаевич взял меня к себе. Он был тогда вице-губернатором в одном из восточных городов и хотел приготовить меня к университету под собственным надзором.

Возвратился я по семнадцатому году. Аленушка без меня умерла, а тетушка, всплакнув об ней, заменила ее молодым парикмахером, вернувшимся из ученья, парикмахером и по наружности — красивым брюнетом с завитыми висками. Он всегда описывал похождения Ивана-царевича, который женился на лягушке оттого, что, выстрелив из лука, попал в болото, а оттуда вышла волшебница (или, по словам Платошки, волфа) в виде лягушки, со стрелой во рту.

Кроме того, тетушка без меня взяла компаньонку, Ольгу Ивановну Петрову, очень ученую девушку и пианистку. Но об ней подробно я скажу вам после. Все заведено у нас было по-старому: не красить яйца к Пасхе, не перечистить всю мебель, образа и весь дом в чистый четверг было невозможно. В день святителя Мокия приходили священники служить молебен от града, и тетушка, в белой кофте, в белой мантилье с оборками, молилась горячо на водосвятии, и после шли мы и народ за нами в поле и у межевых столбиков закапывали скляночки со святой водою в землю. Как блистали

ризы священников тогда на дворе, у колодца, как сверкали образа и кички наших баб, которых я почти всех знал поименно! Как празднично раздувались оборки тетушки, и мантилья ее тогда надувалась, как парус, если набегал ветерок! Она кланялась в землю, когда дьякон молил «о благорастворении воздуха и об изобилии плодов земных»...

И я думал тогда о благорастворении голубого воздуха и тоже кланялся в землю.

Я никогда не мог подъезжать к этой деревне без волнения, и теперь ничто здесь не утратило для меня смысла; но сила ощущений моих ослабела от времени и повторений — мухи по-прежнему спят зимой между двумя пыльными обломками стекла в окне маленькой комнаты около залы, в которой я прежде всегда ночевал. Печки и душники все те же; все так же в одной комнате на антресолях клочками висят обои и видны обнаженные бревна стены с сучками и жилами. Была пора, когда я мог час и два сидеть в этой комнате и разговаривать с воображаемыми соседями, которых имена раскидывались кругом. Разные желтые пятна дерева на ободранной стене были для меня и имения их, и планы имений, на которых кружки сучков обозначали дома.

Фамилию соседей производил я от формы пятна. Одно, например, напоминало мне чудовище, которое я видел в мифологической книжке, то самое, что испугало лошадей Ипполита; владетель пятна поэтому звался Зверьев, другой был Колоколов, третий Сковородкин. Любимый же мой, не знаю почему, звался Ныков. Лицо его я никогда вообразить не мог, но беседовал с ним много. Тогда я был семейный человек: у меня было 40 детей; дочери: Орангутанушка, Заира, Фрезочка, которая утонула однажды в Ганге, Ольга, Надя и много других. Сыновья все были военные, один только был статский. Имя его было Дюсюк; я терпеть не мог его гражданской фигуры и куклу, соответственную этому представлению (она была в черном фраке и привезена была самой те-



тушкой из Москвы), бросил в камин. Тетушка схватила ее щипцами и сказала: «За что ж ты это бедного Дюсюка швырнул?» До какой степени мне стало жаль Дюсюка, до какой степени жаль тетушки, обиженной в его лице, до какой степени меня еще долго после этого грызло раскаяние — я передать не могу.

Куда ни обернусь я, везде дышит передо мной предание или собственная память оживляет все. Заверну я за ворота и посмотрю налево, на пруд, покрытый снегом, — там над сухой вершиной, в которую переходит пруд, стоит нагнутый столетний дуб, разодранный пополам. Одна половина его разодралась и упала в ров в то время, когда еще мне было семь лет, не от грозы и не от ветра, а в самый жаркий, тихий июльский полдень... Какой величественный гром огласил нашу тихую усадьбу... Как долго мы ходили смотреть на эту упавшую половину и думали, подбегая под дубом: «Что, если бы мы были здесь в то время, когда он упал?» Вот на поле перед усадьбой высокий вяз. Говорят, что надо смотреть в полдень на тень его и рыть в том месте, где она кончается. Тут, говорят, зарыт огромный клад; но никто не трогал его.

В большом саду нашем, которым мы гордились перед всей окрестностью, много липовых и старых березовых аллей. В липовых хорошо, когда жарко, а в самой длинной из березовых аллей, когда осенью шумит ветер и гонится за мной, вдруг вырастая на верхушках, я слышу в этом шуме всякий раз много знакомого, много особенного, чего я не слышу в ветре других деревьев и чего не могу теперь выразить вам...

В саду есть также посредине круглой сажалки курган. С курганом этим связано кровавое предание. Владелец, у которого покойный тетушкин муж купил Подлипки, был суров и самовластен. Он заставил обратить болото в круглую сажалку и насыпать курган. Крестьянам показалось трудно, и некоторые убежали. Вскоре после этого он был задушен в постели.

Я долго не верил, что такое страшное дело могло случиться в наших Подлипках.

Курган теперь покрыт высокими деревьями клена; сажалка обросла по берегам лозняком, а на вершине кургана стоит памятник из дикого камня с вазой наверху. На нем написано: «Праху друзей», и около него девицы, жившие прежде в Подлипках, хоронили своих собак, котят и птиц.

Не сердитесь за эти описания, не думайте, что я хочу хвалить одиночество. Нет, мое временное одиночество случайно и незлобно. Все, что двигалось и дышало здесь, плакало и веселилось — дорого мне, и о людях-то, о прежнем многолюдстве я хочу вам говорить гораздо больше, чем о самом себе.

Прощайте, до другого раза. Мне хочется рассказать вам историю моей первой любви. Страсть в ней длилась недолго, всего дней пять; но это было первое истинное чувство в моей жизни.

## II

Лет десять назад я был студентом первого курса и собирался летом домой.

Приехали за мной свои лошади с тарантасом, и пришло письмо от тетушки.

Оно было писано не ее рукой; почерк казался почти детским, но ошибок попадалось не слишком много.

После разных ласковых названий, после поручений, советов, просьб не задерживать лошадей следовала приписка.

«Маленький секретарик мой тебе кланяется — Паша, отца Василия покойного дочь; ты ее, верно, помнишь. Она помнит тебя и говорит, что ты ее раз хотел было совсем притузить; такой всегда был турухтан-повеса, а я совсем стала слепа: все она мне пишет. Целую тебя, душа моя. Да хранит тебя Мать Пресвятая Богородица. Тетка и друг твой

*Марья Солнцева.*

Р. S. Не забудь, ветрогон, хороших гвоздей купить».

Я очень был рад, что в Подлипках есть новая молодая девушка. Ей, должно быть, лет 17-ть. В детстве она была недурна, бледна, опрятна, ходила всегда коротко остриженная и носила сетку. Отца ее я также забыть не мог.

Он был у нас приходским священником и духовником всей нашей семьи. Я помню его высокий рост, худое, бледное, кроткое лицо, белокурые кудри и мелкие морщины на лбу — от привычки, часто задумываясь, поднимать брови.

Помню также, как приезжал он по великопостным вечерам служить у нас всенощную. Собиралась семья в длинную белую залу, освещенную только на одном конце церковными свечами, и что за томительный восторг охватывал мою душу, когда высокий отец Василий, наполнив залу кадыльным дымом, сквозь который из угла блистали наши образа, начинал звучным, густым, возрастающим голосом: «Се жених грядет во полунощи!» Тогда я, бывало, кланялся в землю, и мне, поверите ли, казалось, что в самом деле идет откуда-то таинственный божественный жених среди ночи... Раскрытая дверь темного коридора, глубокое молчание всех других комнат... самый ландшафт в огне, освещенный месяцем, зимний сад, полосы тени от деревьев по снегу, пустынная, обнаженная аллея, пропадающая за недоступными сугробами, и таинственная мысль о безлюдности огромных полей...

Из родных кто молится усердно на коленях, а кто, прислонясь к стене, вполголоса поет за священником; сзади люди громко кладут поклоны, вздыхая...

Еще помню отца Василия в минуту моих тогдашних исповедей, когда я, наклонившись под эпитрахиль его, от которой всегда так хорошо пахло ладаном, слушал, как он отпускал мои грехи и прибавлял иногда, погладив меня по голове широкой, но чистой рукой: «Иди! Бог с тобой... Душа-то, я знаю, у тебя добрая!»

Отец Василий тогда не был еще стар, лет 47 всего, умер он, когда мне был 14-й год, около самых Петровок, не знаю, от какой болезни.

Тетушка, Марья Николаевна Солнцева, которая уважала его глубоко, говорила мне, что, за несколько часов до смерти, он велел себя вынести на кровати в пчельник, который страстно любил.

Я сам помню, как он описывал немного книжным языком любимых животных своих, утверждая, между прочим, с улыбкой, что матка столько же похожа на девицу, сколько трутень на мужичка.

Рассказывали тоже у нас о женитьбе отца Василия. Обыкновенной рассказчицей была сама тетушка, которая всякий раз (хотя бы в 20-й) почтительно наклоняла голову, как будто сам отец Василий стоял перед ней в ту минуту.

Еще семинаристом влюбился он в свою Анну Ефимовну. Дочь богатого протопопа и слышать не хотела о деревенской жизни, о платке вместо чепца. Она привыкла ходить в барские и чиновничьи дома, не работать и ни о чем не хлопотать; но скромный и красивый блондин играл хорошо на скрипке, был покорен и очень понравился ей, несмотря на длинный оливковый сюртук. Она соглашалась идти за него с тем только условием, что он наденет фрак гражданского чиновника.

Увлеченный любовью, молодой человек решил взять на себя грех обмана; он дал ей слово быть *светским*, женился — и через несколько месяцев после женитьбы посвятил себя духовному званию. Он тяжело заплатил всей жизнью за эту женитьбу и за первые сладкие минуты: Анна Ефимовна терзала и грызла его.

— Представь себе, дружок мой, — говорила еще не так давно покойная тетушка, — представь себе, как он хорошо чувствовал свой грех. Бывало, придет такой убитый, что боже упаси; начнем дружески его уговаривать. Конечно, я догадывалась, что его эта негодная баба беспокоит. «Нет, говорит, Марья Николаевна, я согрешил перед Господом и благодарю небесную милость Его, что Он в этой жизни меня наказует, а не в той... В этом я Его милосердие вижу». «Да ведь вы, Ва-